

Сергея Прокофьева с детства считали гением. «Музыка Прокофьева была очень необычной, — отмечал великий пианист Святослав Рихтер. — И если Стравинский разговаривал с богами, то Прокофьев — с дьяволами. Этот человек видел мир иначе. Ему открывались самые тёмные бездны реальности».

Сергей Сергеевич Прокофьев родился 23 апреля 1891 года в имении Сонцовка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Его отец — Сергей Александрович Прокофьев был агрономом, мать — Мария Григорьевна, урождённая Житкова, происходила из крепостных Шереметьевых, где с юных лет получила музыкальное образование и была неплохой пианисткой. В возрасте десяти лет Прокофьев вместе с родителями посетил Москву, где впервые оказался в опере. Давали «Фауста». Спектакль произвёл на него такое сильное впечатление, что вернувшись в Сонцовку, он заявил родителям: «Я буду сочинять музыку». Для занятий с подростком пригласили преподавателя; им оказался Рейнгольд Морицевич Глиэр, преподававший в Московской музыкальной школе Гнесиных. Он занимался с юным дарованием теорией музыки и композицией. В Сонцовке Прокофьев сочинил две оперы «Великан» и «На пустынных островах», а также несколько симфонических произведений. Мария Григорьевна называла первые произведения сына «собачками» — они уже тогда «кусались».

Глиэр подготовил юного Серёжу к поступлению в Петербургскую консерваторию. В 13 лет он оказался самым юным «студентом» учебного заведения. Прокофьев обучался сразу по двум специальностям — как композитор и как пианист. По инструментовке с ним занимался Н.А. Римский-Корсаков, по композиции — А.К. Лядов. Во время обучения Прокофьев подружился с Николаем Мясковским, и эта дружба продолжалась всю жизнь. Обучение, правда, складывалось не гладко. Необычные музыкальные способности юноши, его новаторство не вызывали одобрения у преподавателей. Так, знаменитые впоследствии сверхмощные доминанты, названные «прокофьевскими», Лядов однозначно считал какофонией. Юный Серёжа не раз подвергался его разгромной критике, но продолжал настаивать на своём. «Ни гармонии, ни формы, ни музыки — одни драконы, — негодовал Лядов. — Они все хотят

быть Скрябиными. Но Скрябин пришёл к этому только через двадцать лет. А Прокофьев чуть ли не с пелёнок хочет так писать. Прокофьев — это несомненный талант, а пишет чёрт знает что!». На премьере Скифской сюиты директор Петербургской консерватории А.К. Глазунов вообще покинул зал, заявив возмущенно, что «слушать это невозможно». И его примеру последовала половина публики.



Однако Прокофьева всё это не обескуражило. Он продолжал сольные выступления, исполняя собственные произведения. А в 1911 году известный издатель Б.П. Юргенсон согласился издать его партитуры. Как композитор Прокофьев закончил консерваторию в 1904 году, как пианист — в 1914 и ещё вплоть до 1917 года продолжал занятия по классу органа. По классу фортепиано он был отмечен золотой медалью и премией имени Антона Рубинштейна.

События 1917 года Прокофьев воспринял равнодушно. Политикой он не интересовался. « Ходили с мамой смотреть революционный Петроград, — записал Прокофьев. — Я разочарован и раздражён. На улицах царит праздношатание. Закрылся дома. Мой идеал — это Архимед, — продолжал он. — При падении Сиракуз он попросил солдата отойти и не загораживать ему солнце. Чтобы ни происходило — надо работать. Закончил Третью сонату, набросал несколько пьес для двадцать второго опуса, стал продолжать скрипичный концерт».

Однако он не мог не заметить, что в объятый революционными распрями стране его музыка не востребована. «Победа большевиков

и их вандализм — по всей России, бойня в Москве. Снаряд попал в дом, где я должен был остановиться. Вот умница, что так не сделал, — пишет Сергей Сергеевич в дневнике. — В России — разбой, в Петербурге — голод. Озлобленная чернь и полная бесперспективность для музыканта». Он заболел — работа в стол явно не для него. В конце 1917 года ясно созрело желание покинуть страну и попробовать себя за границей. «Ехать в Америку, конечно! Здесь — закисание, там — жизнь ключом, здесь — резня и дичь, там — культурная жизнь, здесь — жалкие концерты в Кисловодске, там — Нью-Йорк, Чикаго. Колебаний нет. Весной я еду. Возможно, меня ждёт слава, возможно — провал. Я готов и к тому, и к другому».

7 мая 1918 года Прокофьев с матерью Марией Григорьевной выехали из Москвы Сибирским экспрессом, и 1 июня прибыли в Токио. «Прощайте, большевики-товарищи, — радостно пишет Прокофьев. — Снова можно носить галстук, и никто не наступит на ногу. Впереди — Америка. Надо победить эту Америку. Но предчувствие — хорошее».

Американской визы пришлось дожидаться два месяца, так что в Нью-Йорке оказались только в середине августа. Здесь Прокофьев снова чувствует себя в комфортной среде. Он снимает квартиру, много работает, выступает с концертами. Как-то сразу приходит успех, а вместе с ним — материальное благополучие, внимание женщин. «У меня прекрасная обстановка, — записывает композитор в дневнике. — Две большие комнаты, устланные коврами, в центре рояль. Камин, тишина, трубка с душистым табаком, несколько философских мыслей возвращают мне равновесие, утраченное в последнее время. Боюсь суеты. Время от 11 утра до 14 дня обычно берегу для себя — для музыки, для размышлений. Много работаю. Стараюсь не отвлекаться. Если любовное приключение тягостно, сразу избавляюсь от него. Оставлять надо то, что помогает радостно смотреть на мир. Если исчезнет это ощущение, я перестану слышать музыку». Однако внимание поклонниц молодому композитору льстит. «Любовные истории — это как глоток шампанского, — записывает он в другой раз. — Легко, непринуждённо, весело. Но не стоит тратить время попусту. Сегодня — неделя со Стеллой. Она провела у меня несколько часов. Была мечтательна и нежна, был камин, поцелуи на ковре. Потом я сел играть за рояль вальс Рахманинова. “Если она уйдёт, встреча с ней останется красивым сном”, — загадал я. — Закончил играть, повернулся — её в комнате не было. А на полу лежал сломанный цветок, который я ей подарил. Утром я послал ей две дюжины

роз. Много об этом не думал. В общем, в Америке всё складывается неплохо. Я был готов и к большому успеху, и к чистке сапог с голода. Линия прошла посередине. Но ближе всё-таки к успеху», — резюмирует он.

Лина Кодина, начинающая певица, испанка по происхождению, впервые увидела Прокофьева, когда он играл Первый концерт для фортепьяно с оркестром в Карнеги Холл. Лина выросла в музыкальной семье, её родители были оперными певцами, она не пропускала ни одной богемной вечеринки, ходила на все модные концерты и спектакли. О Прокофьеве она слышала, что он — феноменальный виртуоз, и он заинтересовал её. 10 декабря 1918 года Лина присутствовала на концерте в Нью-Йорке. «Я была ошеломлена, — вспоминала Лина Ивановна позднее. — Хлопала, как сумасшедшая. Помню, я подумала: “Если бы такой человек мог полюбить меня...” Эта мысль поразила меня».

По воспоминаниям Лины Ивановны Прокофьев был высоким, очень худым и очень красивым. «Он странно кланялся — словно как-то переламывался, причём глаза его не изменяли выражение, смотрели прямо. Лицо было такое, как будто всё происходящее его совсем не трогало. Мне он напомнил персонаж из Гофмана». Прокофьев же так записал в дневнике об этом вечере: «Зал оказался полным, это было приятно. Я сразу вышел играть, был встречен овацией, по окончании был вызван десять раз. Меня провели в арт-фойе. Поздравляли горячо человек пятьдесят». «Прокофьев вышел, поднял глаза и... улыбнулся мне, — вспоминала Лина Ивановна. — Нас познакомили. “Вам нравится гулять?” — спросил он меня. — “Конечно, мне нравится гулять”».

О появлении Лины Кодина в его жизни, Прокофьев сначала в дневнике отзывается почти равнодушно, как и о прочих поклонницах. «Кокетничал с Линет, моей новой знакомой. Весьма сдержанная особа, несмотря на свои двадцать лет. Учил программу. Читал Фрейда. Вечером с Линет были в синема. Отвез её с поцелуями. Большая недотрога, надо отметить». Спустя несколько дней снова: «Обедал с Линет. Вечером опять синема, ибо эта гадкая девчонка никак не хочет прийти ко мне. Провожал. Долго целовались, что доставило обоим удовольствие. Всё-таки уговорил её подняться ко мне. Похоже, она впервые в жизни на холостяцкой квартире. Дрожала и волновалась до такой степени, что я был вынужден успокаивать её. Время прошло мило, нежно и быстро». Ещё же через некоторое время уже восторженный отзыв. «Моя Пташка! Кажется, давно меня никто так не любил, как эта милая девочка. Линет — это то, что я давно искал...» И тут же словно

испугавшись, одергивает себя. «Прогулки, звёздные ночи, поцелуи, вспышки, обиды, радостные примирения — всё как у всех. Работа, интенсивная работа — вот что важно. Мелодии не отпускают, приходят в самый неподходящий момент. Например, у дантиста под наркозом. Слышу музыку и вижу, как звуки превращаются в геометрические фигуры, они летят друг за другом, причудливо переплетаясь».



Сергей Прокофьев с Линой Кодиной

проникнуться духом брюсовского романа, Прокофьев посетил спиритический сеанс. Он был потрясён. Некий дух, представившийся в одном из воплощений Шуманом, сказал ему: «Мне нравится то, что ты делаешь, Сергей. Мне нравится твой Третий фортепьянный концерт». Прокофьев не был склонен к мистике, но... «Третий фортепьянный концерт ещё никто не слышал, — записывает он, — откуда можно знать? Может быть, сжечь “Ангела” и не беспокоить неведомые силы?». Однако оперу он дописывает.

Успокоение он находит в любви, но и здесь — не без трудностей. У Линет резкий, вспыльчивый характер, она умеет настаивать на своём. «Линет радуется меня, — пишет Прокофьев. — Ласковая, робкая, затем — пламенная. Упрекнула меня, что, живя с ней нелегально, я ставлю её в сложное положение. Я был рассержен, но мне было её жалко. Женитьба казалась мне камнем, привязанным к ноге. Кажется, отношения закатываются, — отмечает Сергей Сергеевич с грустью. — Но продолжать дальше — это бесконечно слушать её жалобы, что я гублю её. Разве я могу жениться,

В самый разгар романа с Линет, Прокофьев начинает работу над оперой «Огненный ангел» по произведению Валерия Брюсова. «Перечитываю снова и снова, — отмечает композитор в дневнике. — Опера может выйти увлекательной. Надо вести весь драматизм и ужас, но не показать ни одного чёрта, иначе всё рухнет, останется только бутафория. Мне кажется, я понимаю Брюсова. Он спрашивает, что такое любовь? Это обман, иллюзия, или возможность прорваться в иные миры?» Чтобы глубже

если убеждён, что это не принесет мне счастья? Решили пожить врозь, — заключает он. — Думаю, разумно».

Прокофьев остаётся в Париже. Лина начинает собственную карьеру. Они обмениваются письмами, иногда видятся. «Пташка сделалась свободной артисткой, — отмечает композитор после очередной встречи. — Но понять её всё также трудно. Говорит, что любит меня, потому что я не такой, как все, что я лишён обыкновенности, но в то же время мерит меня обыкновенным аршином, сама того не замечая. Я боюсь в браке мглы любви. Не могу отделаться от мысли, что законный контракт только губит отношения. Жду милую Пташку, а не летучую Мышку, вцепившуюся в волосы».

Однако он не может не отметить: «Линет похорошела, она оказалась лучше, чем я думал». После горячей встречи Лина увидела под окном целую клумбу из незабудок в форме буквы L. Осенью 1923 года Лина объявила Прокофьеву, что ждёт ребёнка. Он счёл своей обязанностью жениться. Брак заключили 8 октября 1923 года, а 24 февраля родился первенец Святослав. Прокофьев рад, но больше — растерян. «Отношение моё к ребёнку, — пишет он Мясковскому, — скорее тёплое. Лишь бы не очень орал. Не мешал работать».

Композитор остро чувствовал, что семейные отношения могут нарушить привычный ему ритм жизни, повлиять на творчество. Он всячески старался сохранить себя, свою независимость. «Огромное значение он придавал воле, — вспоминал Святослав Рихтер. — У него была специальная тетрабочка, куда он записывал истины, которым следовал, и частенько их перечитывал». Одно из правил гласило: «Я — проявление совершенства, и это обязывает меня к безупречному использованию своего времени»».

Лина Ивановна так описывала их сосуществование в те годы «Жизнь с Прокофьевым была очень насыщенной. Он любил духи, яркую одежду, любил путешествовать, водить машину. Обожал все технические новинки, меховые игрушки, бриджи и шахматы. Он считал, что мелодии приходят к нему свыше, и терпеливо ждал их. И они всегда приходили. Так, первые такты апофеоза для балета «Блудный сын», заказанного Дягилевым, он увидел во сне. Проснулся и записал их».

Отношения с Дягилевым у Сергея Сергеевича получились сложными. Они познакомились ещё в Лондоне в 1913 году, когда Прокофьев с матерью путешествовали по Европе. «Дягилев прослушал мой Второй концерт, — записал Сергей Сергеевич, — пришёл в восторг. Пригласил познакомиться».

В 1921 году Дягилев поставил прокофьевского «Шута». «Репетировали в Монте-Карло, — записал Прокофьев. — Городок скучен

на холме, и кажется, состоит из одних казино и отелей». Премьера состоялась в Париже в театре Гете Лирик 17 мая 1921 года. Дирижировал сам Прокофьев. «Моё появление у пульта было встречено хорошо, — записал композитор. — Хлопали, я кланялся. По окончании — большой успех. Равель сказал, что это гениально, а Стравинский, что мой “Шут” — единственная современная вещь, которую он слушает с удовольствием».

Следующая задача, которую Дягилев поставил перед Прокофьевым, состояла в том, чтобы написать, как он выражался, «современный русский балет». «Я уточнил, большевистский балет? — пишет Прокофьев. — Да, ответил он. — Я был далёк от этого, — признаётся Прокофьев, — но всё-таки взялся». Постановку согласовали с советским послом Раковским. Сергей Прокофьев получил приглашение посетить с концертами Москву и Ленинград с концертами. «Обещали приличный гонорар, — признавался Прокофьев, — но по мне главное, чтобы дали вернуться назад, в Европу».

Премьера «Стального скока», — так назывался балет, — состоялась 7 июня 1927 года в Париже. «Четыре вызова, большой успех, — пишет Прокофьев. — Новая идея Дягилева — постановка “Блудного сына”, библейский сюжет на русской почве. Мне нравится, я согласился». Однако в 1928 году между Дягилевым и Прокофьевым наступает охлаждение. Дягилев ценил талант Прокофьева, но отдавал предпочтение Стравинскому, они были конкурентами. «Дягилев даёт четыре вечера в Опера в Париже, все — Стравинский, целый фестиваль Стравинского, — пишет Прокофьев с явной обидой, — а “Стальной скок” не даёт, мол, незачем осквернять стены Парижской оперы большевистским балетом. А год назад убеждал меня, что и вовсе без Стравинского обойдется». «Да, Дягилев ценил их обоих, Прокофьева и Стравинского, — подтверждал в одном из интервью сын композитора Святослав Прокофьев. — Он говорил, у меня два сына, Серёжа и Игорь. Он то приближал Стравинского, то за что-то обидевшись на него, снова обращался к Прокофьеву. Но отца задевало то, что Стравинский был признан всей Европой. Прокофьев не был так признан. Это его мучило. И это было одной из явных причин, что Сергей Сергеевич захотел вернуться в Россию, где его носили на руках во время турне». К обидам на Дягилева добавилась настоящая трагедия. В пригороде Парижа, где Прокофьев снимал дом, умерла мать композитора. «Болезнь Марии Григорьевны неожиданно обострилась, — вспоминала Лина Ивановна. — Она слегла. Мы по очереди ухаживали за ней. Серёжа очень тяжело переносил эту утрату».

Прокофьев жаждет перемен. «Почему я здесь, почему не в России, где я по-настоящему нужен?» — спрашивает он сам себя в дневнике. Лина Ивановна горячо поддерживает его намерение уехать — в советском посольстве ей ясно обещали сольную карьеру в Москве. Если Сергей Сергеевич сомневался, она настаивала. Вспыльчивая и строптивая, Лина высказывалась прямо и резко. Она считала себя большой певицей и раздражалась, что Прокофьев её не продвигает. Однако Прокофьев холодно относился к её способностям. «Опять ссоримся, — записывает Прокофьев в дневнике. — Лина капризничает».

Однако друзья из России недоумевали: возвращаться в Россию? Зачем? Мясковский писал: «Ваше намерение меня удивляет. Идеологи здесь находят, что ваша музыка рабочим вредна». Святослав Сергеевич вспоминал: «Мама настаивала на возвращении, отец раздумывал». «Подумай, — говорила Пташка, — Россия — это новые возможности. Ты убегаешь от событий, и события тебе этого не простят». В конце концов, Пташка настояла на своём. «Она права, — соглашался Прокофьев в дневнике. — Надо выбирать: Россия или эмиграция. Ясно, что из двух — Россия. Софроничский (пианист) рассказал мне, что на моем концерте в Москве во время турне присутствовал Сталин. А потом даже где-то сказал “наш Прокофьев”. Отлично! В Россию можно ехать спокойно».

«Весной 1936 года мы всей семьей окончательно перебрались в Москву, — вспоминала Лина Ивановна. — Нам дали квартиру на улице Чкалова, в доме, где жили многие видные учёные, музыканты, писатели». «Я помню, отец подозвал нас с Олегом (второй сын Прокофьева — В.Д.), — добавлял Святослав Сергеевич — усадил перед собой в кабинете. Начал наставительно, мол, вы должны понимать, мы приехали в СССР. Это страна, где все равны, все работают, бездельников здесь нет. Я думаю, он упрощал для нас, конечно. Но не исключая, что и сам он так думал довольно долгое время. Ему была свойственна наивность»

В Москве Прокофьевы сразу оказались в центре внимания, к ним относились с любопытством. Лина Ивановна окунулась в водоворот светской жизни, Сергей Сергеевич с удовольствием углубился в работу. «Больше не надо менять квартир, — пишет он, — никаких хлопот по хозяйству. Наслаждаюсь». Всё вокруг вызывает у Прокофьева восторг. «Куда подевались те звери, которые ужаснули весь мир в 1917 году? — недоумевает он. — Всё цветет, радость, душевный подъём, большой интерес к культуре». Он даже пишет кантату к двадцатилетию Октября и здравицу к шестидесятилетнему юбилею Сталина. Правда, смущают



«странности», происходящие с друзьями — Мейерхольд арестован, Эйзенштейну запретили снимать, разгромлен театр Таирова. Прокофьев старается не обращать внимания: «Это временные трудности, — убеждает он Лину. — Надо работать. Жить, как жили».

«Как-то на Арбате случайно встретил Прокофьева, — вспоминал пианист Святослав Рихтер. — Необычайный человек. Он нёс в себе вызывающую силу, прошёл мимо меня как явление. В ярко-желтых ботинках, клетчатый, с красно-оранжевым галстуком пиджак. В руках он держал ярко-жёлтые перчатки, которыми помахивал, не обращая ни на кого внимания. В этот момент он явно что-то сочинял».

Вскоре Прокофьеву дают большой заказ — музыка к балету «Ромео и Джульетта». «Печально, что у любви не бывает счастливого финала, — замечает Прокофьев с необыкновенной грустью — Как хорошо не дожить до холодов». «Он словно предчувствовал, что подходит к концу что-то очень важное», — замечал Святослав Сергеевич.

Мира Мендельсон была дочерью профессора политэкономии и училась в Литературном институте. Летом 1938 года она вместе с родителями приехала на отдых в Кисловодск, где в это время отдыхал Прокофьев. Свою первую встречу с Прокофьевым Мира Александровна описала так: «Во время обеда в столовую вошла миниатюрная женщина, а за ней — высокий мужчина с необычной походкой и серьёзным выражением лица. Именно выражение лица Сергея Сергеевича явилось причиной, что я неожиданно поймала себя на мысли: “Если полюбит такой человек, какой настоящей будет его любовь!”. В один из вечеров я сидела со знакомыми в гостиной, когда туда вошел Сергей Сергеевич, и тут сила сильнее меня самой толкнула меня к нему с вопросом о его предстоящем концерте. “Любите ли вы гулять?” — спросил он меня. — “Да, я очень люблю гулять”, — ответила я. Мы вышли из санатория, побродили по улицам и вскоре вернулись. 28 августа в 6 утра мы вышли на нашу первую прогулку в горы».

Прокофьев же так пишет жене в Москву об этих днях на отдыхе в Кисловодске: «Дорогая Пташка, здесь дни бегут незаметно, для работы условия идеальные — тишина и спокойствие абсолютные. Встаю в 7.30. Затем — купаться и чай. До десяти утра играю в теннис или в волейбол. С десяти до четырнадцати — работа. Затем — обед и послеобеденный сон. Потом — снова теннис или волейбол. Шахматы, дописывание неоконченного днём. Новых знакомств не завёл. Унылая девушка пригласила на прогулку. Читала стихи. Довольно скучные».

Прокофьев вернулся в Москву. Осенью Мира записала в дневнике: «Послала Сергею Сергеевичу стихи, которые перевела и переписала красным карандашом. Дня через два он позвонил. Договорились встретиться». И чуть позднее: «Встретившись в первый раз в Москве у здания ГУМа, мы гуляли по набережной Москвы-реки и с каждым месяцем встречи эти становились всё более необходимыми, занимали всё больше места».

Через год Прокофьев уже сам написал Мире письмо с приглашением приехать в Кисловодск. « Не танцевал, — пишет он. — Ругаю вас. Даже небо с тоски сегодня заплакало. Бон вояж!» Мира приехала. С мамой и папой. «Прокофьев шёл нам навстречу в белом костюме. Я побежала ему навстречу, мы взялись за руки и быстро пошли, — вспоминала Мира Александровна. — В это лето мы не расставались. Утром гуляем, днём Прокофьев работает, а я свернувшись калачиком на кровати читаю, мечтаю».

В Москву же Лине по-прежнему идут письма, из которых следует, что не происходит ничего важного. «Дорогая Пташка, у нас тут кончился сахар, — пишет Сергей Сергеевич. — Компот кислый. Я веду жизнь довольно однообразную, занимаюсь, прерываю занятия то душем, то обедом. Дождь почти каждый день, что на пользу работе. Страдал животом. Нарзан заражён бактериями, так что пить его можно только из бутылок. На днях меня смотрел доктор. Его вердикт — организм в хорошем состоянии, еще долго будет пахать. Жду от тебя писем».

«Зима 1940 года, — пишет Мира. — Не имея возможности быть со мной на Новый год и мучаясь из-за двусмысленности, Сергей Сергеевич принял приглашение выступить 1 января в Ленинграде и новогоднюю ночь провёл в поезде. На концерте он в первый раз играл Шестую сонату. Конечно, Сергею Сергеевичу как человеку порядочному, было трудно решиться на то, чтобы уйти от детей, и от Лины Ивановны, хотя он не раз говорил мне, что его личная жизнь уже давно — пустыня». 26 февраля 1940 года Мире принесли от Прокофьева корзину цветов. К подарку была приложена записка: «Спасибо за полтора сказочных года».

Домработница предупреждала Лину Ивановну: «Барин ведёт себя странно, вы бы за ним следили», но Пташка не верила. Она говорила: «Такого не может быть». «Обычно он всегда говорил, куда идёт и когда вернётся, — вспоминала она. — Дома его всегда ждал ужин, его любимые пельмени. Он был так инфантилен. Когда я узнала, что у него проблема страсти — я была уничтожена». Прокофьев расставался с семьёй тяжело. Мира плакала, упрекала, угрожала, что покончит с собой, так как не может

жить в двусмысленности. Словно ища оправдание, Прокофьев записывает в дневнике: «Жизнь — есть влечение. Без влечения всё мертво». Наконец, он решился. Святослав вспоминал: «Когда он собрался уходить, у него был только маленький чемоданчик. Он пошёл попрощаться с мамой в спальню, и я подглядел — он стоял на коленях у изголовья кровати, голова его лежала на её подушке. Он молчал. Мама плакала. Я пошёл проводить его. Он поцеловал меня и сказал: «Когда-нибудь ты меня поймёшь».

В музыкальных кругах существовала устойчивая версия, что Мира Александровна была подслана к композитору органами НКВД. Власти было необходимо разлучить его с Линой, так как та попадала под категорию «неблагонадёжных», а самого композитора нужно было сделать беззащитным, уязвимым. Его хотели лишить опоры перед теми бурями, которые вот-вот должны были на него обрушиться. Меч римлянина уже был занесён над головой Архимеда, хотя ему и позволили решить задачу.

Однако Прокофьев до поры до времени не чувствовал надвигающейся грозы. Он переехал в Камергерский переулок, через некоторое время купили дачу на Николиной горе. «В кабинете мы поставили Серёжины вещи, — записала Мира Александровна. — Его письменный стол, кресла с бархатными подушками, диван и рояль “Стейнвей”. Серёжа как раз получил гонорар за “Золушку”. Купил в антикварном магазине большое кожаное кресло. Он частенько сидел в нём по вечерам и слушал радио».

Зарегистрировав брак с Мирой, Прокофьев, однако, не оформил развод с Линой. В советских органах его уверили, что поскольку брак с Линой оформлен за рубежом, в СССР он недействителен. В юридической практике этот случай даже получил название «казус Прокофьева». «По сути, он невольно оказался двоеженцем, — отмечал Святослав Сергеевич. — Это впоследствии сыграло свою роль при дележе наследства».

4 января 1946 года Мира Александровна записала в дневнике: «Были с родителями и Серёжей на “Золушке”. Танцевала Уланова. Очень была хороша». Критики отмечали, что «Золушка» — это самый печальный и таинственный балет Прокофьева. Он сочинял его, когда в его жизни мучительно заканчивалась одна история и начиналась другая. Старое чувство угасало, а новое будоражило. «Душа моя истерзана, — признавался композитор в дневнике. — Боже мой, как печальны все сказки о любви!».

Однако внешне дела шли блестяще. Прокофьев — на подъёме. Власть его признаёт. Одна за другой ему были присуждены Ленинская и три Сталинских премии. Мира — молода, у неё нет

личных амбиций, как у Лины. Она сосредоточена только на супруге и на его работе. «Единственная её забота — это я, — замечает Прокофьев в дневнике, — чтобы мне хорошо работалось, чтобы я был здоров». Мира не хотела никакой самостоятельной жизни, она словно растворилась в жизни Проко-



Мира Мендельсон и Сергей Прокофьев

фьева, идеал её жизни состоял в том, чтобы быть при нём. «Серёжа работает как часы, — записывала в это время Мира Александровна. — Часы эти не спешат, но и не запаздывают. Поразительная точность во всём. Ездили в Ленинград на премьеру Шестой симфонии. Дирижировал Мравинский. В конце второй части я заплакала. Он спросил меня: “Как тебе?” Я не нашлась, что ответить. Вконец симфонии ясно брошен вопрос, вопрос в вечность. Я долго допытывалась у Серёжи, что он означает. Он не хотел говорить. Потом признался: «Что такое жизнь?». 23 апреля отмечали день рождения Серёжи. Я купила ему в подарок шёлковую пижаму солнечного цвета. Ему понравилось. Чудесно прошёл день. Приятно было обедать, пить кофе на террасе. Серёжа украсил стол только что появившимися апельсинами, живописно разбросав их по скатерти».

1948 год прошёл красной чертой, словно отсекая прошлое от настоящего. Прокофьев окончательно расстался с Линой — больше они не виделись. Мало общался с сыновьями. В начале 1948 года Лина Ивановна была арестована, осуждена по 58 статье за шпионаж и направлена в лагерь усиленного режима.

Прокофьев узнал о несчастье от сына Святослава, который приехал к нему на дачу на Николиной горе. «Мы пошли прогуляться, — вспоминал Святослав, — так как дома говорить было невозможно, везде — лишние уши. Я рассказал отцу о том, что произошло с мамой. Он был очень опечален». Однако, несмотря на все просьбы сыновей, Прокофьев ничего не сделал, чтобы помочь Лине, не написал ни одного письма, никому не позвонил.хлопоты о том, чтобы облегчить её судьбу взял на себя Шостакович. А в феврале 1948 года грянуло Постановление о борьбе

с формализмом, в котором Прокофьев и Шостакович были объявлены «вредителями в искусстве». Меч римского легионера ударил.

Прокофьев был ошеломлён, растерян. Его проклинали повсюду — в Союзе композиторов, в советской прессе. Произведения запретили исполнять, спектакли сняли. На фоне происходящего Прокофьев сначала пытался бодриться. «Встретил его как-то на Арбате, — замечал Рихтер. — Идёт, надел на себя все значки, которые ему вручались с премиями. Я спросил: “Для чего такой парад?”. Он ответил спокойно: “Пусть знают, кого клеймят”».

Но опала не заканчивалась, в конце концов, Прокофьев не выдержал — он заболел. «Серёжа не очень хорошо себя чувствует, — записывает Мира Александровна в дневнике. — Он задёргивал занавески на даче, палка сорвалась и ударила его по голове. Теперь он страдает болями, и память иногда покидает его. На улице он упал в обморок». «Ходили слухи, что всё было подстроено, — вспоминал Святослав Прокофьев. — Чтобы он не мог работать, чтобы сдался. Врачи очень жёстко взяли его в руки, только несколько часов занятий в день, а иногда целыми днями не допускали до рояля. И Мира Александровна была с ними заодно. Она не поощряла его к творчеству».

Без работы положение композитора ухудшалось ещё быстрее. У Прокофьева стали появляться странные состояния. Он словно проваливался в небытие, уходил куда-то. Ни с кем не разговаривал. Никого не узнавал. Потом возвращался. Его угнетало жесточайшее безденежье, которого он прежде не знал. «Бедность, — отмечает Прокофьев скупно в дневнике. — Писать надоело. Душа болит».

Лина Ивановна в это время находилась в лагере. Её подруги по несчастью вспоминали, что вела она себя очень мужественно. Старалась следить за собой, как привыкла, используя вместо зеркала оконное стекло барака — причёсывалась каждое утро. «Надо стараться украсить себя, — говорила она на прогулке. — Надо все делать назло. Не нойте, улыбайтесь!» О своей семейной жизни ничего не рассказывала, мало, кто знал, что она — бывшая жена композитора Прокофьева. В конце февраля 1953 года Лина Ивановна написала сыну Святославу с большой тревогой: «Вчера во сне видела папу. Он подошёл ко мне и обнял. Он был прозрачный, весь в белом. Напиши мне, что с ним?». Ответ она услышала от одной из лагерных подруг спустя несколько дней после того, как письмо было отправлено. По радио сообщили, что композитор Прокофьев скончался. «Она побледнела, — вспоминали очевидцы. — И ушла в барак. Она плакала несколько дней».

Сергей Прокофьев умер 5 марта 1953 года — в день смерти Сталина. А 1 марта в Большом театре после долгих хлопот,

наконец-то, начались репетиции по постановке его балета «Каменный цветок». Председатель Союза композиторов Тихон Хренников вспоминал: «5 марта рано утром мне позвонили из семьи Прокофьева. Сказали, что он умер. Я сразу поехал в Комитет Искусств, чтобы заняться организацией похорон. И тут — звонок по правительственной линии. Звонит Хрущев. Говорит: “Только что скончался товарищ Сталин. Распорядитесь о музыке для похорон, чтобы были оркестры, желательно сменяли друг друга”». «Я помню, что к нему невозможно было попасть, — вспоминал Мстислав Ростропович. — Море народа на улицах. Сергея Сергеевича несколько дней не могли вынести из дома. Никто не знал, что он умер». «Невозможно было найти цветы, — отмечал Святослав Прокофьев. — Всё пошло на Сталина. Я помню, студенты консерватории ездили куда-то далеко, за город, привезли что-то, но тоже пришлось сказать, что “для Него” (для Сталина). На похороны приходили, обрезав комнатные растения. Хачатурян воскликнул над гробом: “Жаль не узнал, что Он умер!”»

Лина Ивановна Кодина-Прокофьева провела в лагере восемь лет, была освобождена и полностью реабилитирована. Не желая оставаться в Москве, она уехала в Париж. Жила долго и благополучно. Возраст не замечала. Меняла наряды и ходила на каблуках. Путешествия, встречи с друзьями, работа с прокофьевским архивом — всё это составляло содержание её жизни. «Мой муж научил меня смотреть вверх, — написала она в воспоминаниях. — Он говорил, человек не погибнет, если всё время будет тянуться к солнцу. Мой муж был обыкновенный гений, и я жила в волшебном мире. Однажды он придумал новую сказку, вот и всё. Зачем он её придумал?».

Мира Мендельсон умерла в 1968 году. Она прожила печальную, одинокую жизнь. Единственной её мечтой было быть похороненной рядом с Прокофьевым. Эта мечта исполнилась. Мира и Сергей Прокофьевы похоронены на Новодевичьем кладбище в Москве, участок номер три.

«Мне приходила мысль, — писал Сергей Сергеевич в дневнике незадолго до кончины, — что люди, верящие в бессмертие действительно бессмертны, а те, кто не верит — смертны. Я же принадлежу к колеблющимся, к тем, у кого духовная жизнь превышает материальную. Таким же почти наверняка нужно родиться ещё раз, чтобы убедиться. Может быть, мне это и предстоит?».